

Не знаю, что еще выразительнее говорит о скрытом и истинном душевном строе человека, чем манера произнесения им поэтических строк. Сергей Довлатов читал стихи, я бы сказал, аккуратно, собранно, со сдержанной мягкостью подчеркивая их смысл и одновременно удивляясь ему. Он как бы приглашал подивиться вместе с ним той свободной точности, с которой лирическая речь извлекает из темной утробы жизни неведомые доселе ослепительные смыслы. Они "темны иль ничтожны" - с точки зрения господствующей морали, а потому и сам художник всегда раздражающе темен для окружающих. От него и на самом деле исходят опасные для общества импульсы, и я не раз был свидетелем того, как одно появление Довлатова в присутственном месте омрачало чиновные физиономии, а вежливый тембр его голоса уже выводил из себя.

Обусловлена подобная реакция не политическими взглядами писателя и не его всегда оставляющим желать лучшего моральным обликом, а тем, что он способен приводить людей в волнение в минуты, когда общество дремлет, когда волноваться, кажется, никаких поводов нет, когда "всем все ясно". Довлатов был уверен, например, что в мандельштамовской строчке о далеком от нас во времени и пространстве Гамлете, "мыслившим пугливыми шагами", современных переживаний больше, чем в описании и обнародовании всей подноготной Бери...

Социальная критика в искусстве грешит тем, что едва проявленный негатив выдает за готовый отпечаток действительности и творит над ней неправедный суд. Там, где общественное мнение подозревает в человеческом поведении умысел и злую волю, Довлатов-прозаик обнаруживает живительный, раскрепощающий душу импульс. Неудивительно, что он питал заведомую слабость к изгоям, к плебсу, частенько предпочитая их обществу приличных - без всяких кавычек - людей. Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, благоприятное существование - опорой лицемерия.

Приведу один характерный в этом смысле диалог. Для Довлатова он нечто значил, так как он вернулся к нему год спустя.

Летом 1976 года мы оба работали экскурсоводами в Пушкинском заповеднике. Поджи-

дая, должно быть, Володю Герасимова, чтобы отправиться с ним в ближайший гадюшник (пивная, где в розлив торговали также вином), мы сидели в мандельштамовском дворе на скамейке в тени клен-малины (некий гибрид, кустарник с листьями клена и цветами малины, выведенный, говорят, местными помещиками). Герасимов, как всегда, запаздывал, а в ту минуту мы увидели другого экскурсовода, спускавшегося с холма по внушительной каменной лестнице - от могилы Пушкина. Это был необременительной наружности с ладной выправкой молодой человек, заслуженно пользующийся успехом у турбазовской публики (мы предпочитали работать с заезжавшими на несколько часов и менее взыскательными автобусными группами). Чуть переменно, с заторможенным достоинством он поклонился нам и простововал мимо.

- Как бы ты определил эту личность? - спросил Довлатов.

- Гармоническое убожество, - ответила я, не испытывая на самом деле никаких недобрых чувств к нашему знакомому (юношеская "солидарность цинизма", о которой написала в статье о Довлатове американский критик Сюзан Рута, оказалась в нашем поколении действительно весьма прочной).

Сергею мое заявление вдохновило на целую речь о натурах, у которых по мелочам не счесть раскрепощенных черт, не складывающихся, однако, в какое-нибудь примечательное целое. Довлатов подозревал в них порочность, коренящуюся в самом отсутствии у них пороков... Короче говоря, концепция вырисовывалась подходящая, но, к счастью, не окончательная: "Беспринципность сердца" Довлатову служила поводом, выведившим его из любого тупика, в который загонял разумный ход мысли. Чем незыблее обосновывались интеллигентные выкладки, тем желаннее было обнаружить нюанс, выставляющий их в жалком свете. Относилось это и к собственным построениям. Этот нюанс был связующим жизнь и литературу пунктом: запечатленное словом неразрешимое противоречие между жизнью и мыслью о ней есть главный предмет довлатовской прозы.

Вот и на этот раз Сергей закончил свой монолог неожиданным соображением: - Почему же тогда N (он назвал имя уважаемого нами старожилы пушкинских мест)

предпочитает общество этого парня, извини, Андрюша, нашему?

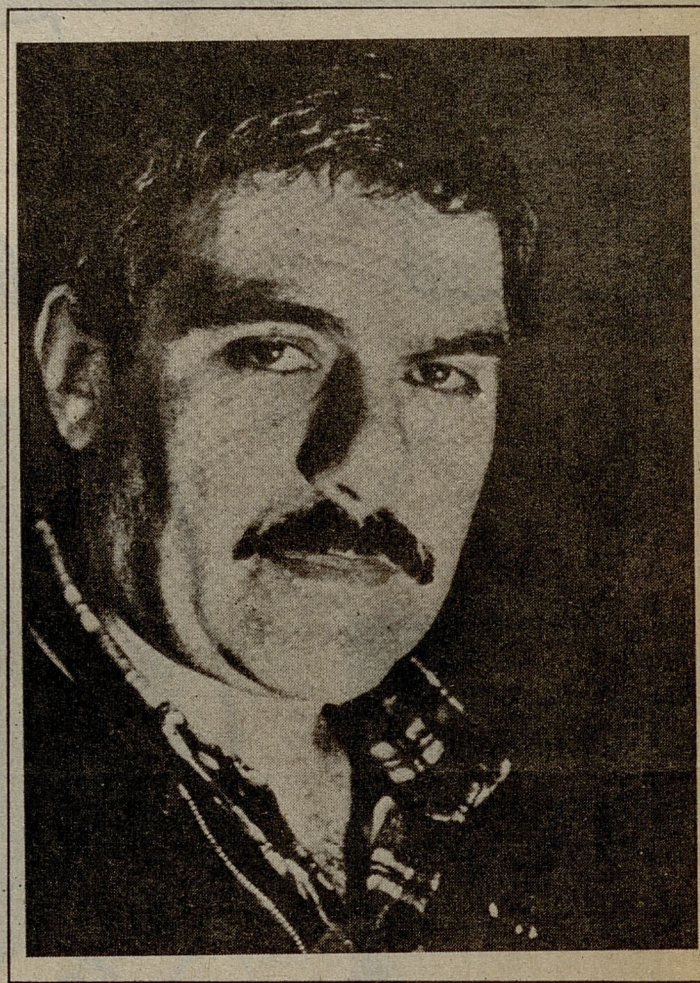


Фото Нины Аловерт.

Потому что с некоторых пор его привлекают не настоящие, а приличные люди, - ответил я.

Это соображение и зафиксировала Сережина память, его он мне и напоминал несколько раз, повествуя о своих или чужих слабостях и срывах на фоне воображаемых и настоящих побед.

Интеллигентный человек фатально поражается несправедливому устройству мира, сталкиваясь с абсурдной - на его взгляд - жестокостью отношения к нему окружающих: как же так - меня, такого замечательного, справедливого и тонкого, вдруг кто-то не любит, не ценит, причиняет мне зло... Сергея Довлатова - как никого из встреченных мной людей - поражала более щекотливая сторона проблемы. О себе он, случалось, размышлял так: каким образом мне, со всеми моими пороками и полууголовными деяниями, с моей неизъяснимой тягой к отступничеству, каким образом мне до сих пор прощают неис-

числимые грехи, почему меня все еще любит такое количество приятелей и приятельниц?..

В дни нашей последней нью-йоркской встречи (ноябрь 1989 года) Сережа несколько раз заговаривал со мной о Кафке. С оттенком тревожного недоумения он признавался, что этот автор все больше и больше захватывает его воображение.

- Конечно, принято считать, - усмехался он, - что Кафка - не довлатовского ума дело. Да помнишь, мы ведь и сами орали университетским барышням: "Долой Кафку и Пруста! Да здравствует Джек Лондон и Виталий Бианки!" Теперь, видно, аукнулось. Прямо какое-то наваждение - писатель, самым жесточайшим манером обделенный чувством юмора, вдруг не дает мне покоя...

Действительно, тут было над чем призадуматься. Ведь в прежние времена Довлатов охотно поддерживал мысль о том, что и Достоевский гениален лишь тем, что порой безумно смешно пишет...

Я сказал, что меня у Кафки поражает только "Письмо отцу", а "Процесс" и прочие шедевры кажутся несколько

# И МОЦАРТ В ПТИЧЬЕМ GAME...

(К 50-летию  
Сергея Довлатова)

анемичными... И дальше я уже пошел что-то не вполне ясное мне самому - об анемичности кафкианских ужасов, так сказать, вылежанных на диване.

Сергею мои туманные сообщения неожиданно возбуждали, особенно же упоминание "Письма отцу":

- Да, да, помнишь, что он там говорит? "Отец! Каждое утро, опуская ноги с дивана, я не знаю, зачем мне жить дальше..." Каждое утро! О!.. О!..

И Сережа удрученно крутил головой, и сам едва не шатался.

Слов этих я у Кафки потом не обнаружил, но они в "Письме" со всей несомненностью и очевидностью прочтываются. Такова высокая черта довлатовского артистизма: вдохновенно угадывать недоиспользованную речь. Он не сочинял забавных небылиц, как некоторые склонны думать, а именно воплощал недоиспользованное.

В литературе Довлатов существует так же, как гениальный актер на сцене, - вытаскивает любую провальную роль. Сюжеты, мимо которых проходят титаны мысли, превращаются им в перл создания. Я уже писал, что реализм Довлатова - "театрализованный реализм".

Но сегодня важно не оправдание литературного метода, а определение судьбы. И вот что я думаю на этот счет.

Если человека спасает от катастрофы лицедейство, то надо играть.

Так играл пред землей  
молодую  
Одаренный один  
режиссер,  
Что носился как дух над  
водою  
И ребро сокрушенное тер.  
И, протискиваясь в мир  
из-за дисков  
Наобум размещенных  
светил,  
Задрожавшую руку  
артистку  
На дебют роковой  
выводил...

Мне всегда хотелось переадресовать Сереже эти пастернаковские, Мейерхольдам посвященные строчки.

Артистизм был, по-моему, для Довлатова единственной панацеей от всех бед. Сознанием он обладал все-таки катастрофическим.

Помню, как 3 сентября 1976 года - в день Сережиного рождения, - приехав под вечер из Ленинграда в Пушкинские Го-

ры, я тут же направился в деревню Березино, где он тогда жил и должен был - по моим расчетам - веселиться. В избе я застал его жену Лену, одиноко бродившую над уже отключившимся мужем. За время моего отсутствия небогатый интерьер низкой горницы заметно украсился. На стене рядом с мутным, треснувшим зеркалом выделялся приколотый с размаху всажённым ножом листок с крупной надписью: "35 ЛЕТ В ДЕРЬМЕ И ПОЗОРЕ". Так Сережа откликнулся на собственную круглую дату.

Кажется, на следующий день Лена уехала. Во всяком случае в избу стали проникать люди - в скромной, но твердой надежде на продолжение. Один из них, заезжий художник, реалист-примитивист со сложением десантника, все поглядывал на Сережину манифест. Но пока водка не кончилась, помалкивал. Не выдержал он, уже откланиваясь: "А этот плакат ты, Серега, убери. Убери, говорю тебе, в натуре!"

Когда все разошлись, Сережа подвел итоги: "Все люди, как люди, а я..." Договаривать ввиду полной ясности смысла не имело.

"Обидеть Довлатова легко, а понять - трудно". Эту фразу я слышал от Сережи едва ли не со дня нашего знакомства, и ею же он реагировал на мой первый отзыв о его сочинениях. Году в шестидесятом, прочитав подслушанные им мне на лекции три крохотных шедевра, три его едва ли не первых прозаических опуса, я тут же возвратил их ему и, указав на один пальцем, заявил: "Этот мне не понравился меньше". Как ни странно, но это была похвала.

Впрочем, видимо, уж слишком редуцированная. Сережа мне ее припомнил долго, до тех пор, пока не обрел окончательную уверенность: никто никому ни помочь, ни помешать в литературном деле не в состоянии.

Без всякого нарочитого пафоса Сергей верил в спасительную для души суть известного афоризма: "То, что отдал, твое". По этому принципу он жил, по этому принципу писал. Практически все его запечатленные в прозе истории были сначала поведаны автором друзьям. Рассказчиком Довлатов был изумительным, но, в отличие от других мастеров устного жанра, он был еще и изумительным слушателем. Потому что рассказывал он не в надежде поразить воображение собеседника, а в надежде уловить ответное движение

мысли, почувствовать степень важности для другого человека только что поведенного ему откровения. Подобно мандельштамовским героям, он "верил толпе". Не знаю, как в Нью-Йорке, но в Ленинграде стихотворение "И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме..." он повторял чаще прочих и единственное читал от начала до конца.

Сережа, относясь вполне равнодушно к материальным благам и вообще к "неодушевленной природе", очень любил всякие милые эфемерности, непосредственно окружающие человека, сроднившиеся с ним, всяческие записные книжки, авторучки, цепочки, фляжки и прочие в пределах непосредственного осязания болтающиеся вещицы. Ими же он щедро делился со своими приятелями. И у меня остались от него на память: деревянный мексиканский нож для разрезания бумаги, весьма удобная с двумя металлическими рюмками фляжка в кожаном футляре на ремешке, швейцарский перочинный ножик да на руке японские часы, которые все еще не остановились, хотя я не заводил их с 1989 года ни разу. Ну и, разумеется, десяток Сережиных книг, что он издал на Западе. Дома при жизни не удалось выпустить ни одной.

Когда Сережа уезжал в эмиграцию, он поделился со мной весьма несерьезным, казалось бы, соображением: "По крайней мере, разнузано, чем теперь занят Сэлинджер и почему молчит". Он уверял меня, что, когда читает "Посвящается Эсме", "Голубой период де Домье-Смита" или "Грустный мотив", у него делается от счастья судороги. Наверное, это была метафора. Но у меня самого забирает дыхание, когда я только вспоминаю всех их подряд, всех персонажей "Грустного мотива" - подростков Рэффорда и Пегги, пианиста Чарльза Луизу - и склонившегося над ними Сергея Довлатова... Что их роднит, Луизу-Луизу, негритянскую исполнительницу блюзов, и Сергея Довлатова, русского литератора из города Нью-Йорка? Путь к смерти? Ведь оба они умерли в самом расцвете дарования и славы, и обоим их можно было бы спасти, если бы жестокий абсурд мира не явил себя в очередной раз нормой человеческих отношений... Или роднит их то, что он писал рассказы так же замечательно, как она пела блюзы и как "не пел никто на свете - ни до нее, ни после"?

Андрей АРБЕВ.

248